

«Эффект Матфея» в советской исторической науке 1920–1930-х гг.

Любовь Сидорова

«The Matthew Effect» in Soviet historiography of the 1920s–1930s

*Liubov Sidorova (Institute of Russian History,
Russian Academy of Sciences, Moscow)*

Приняться за написание статьи меня побудило знакомство с книгой¹, в которой представлены документы, связанные с последними десятилетиями научной деятельности замечательного русского историка, социолога и методолога науки Николая Ивановича Кареева (1850–1931). Это издание, автором-составителем которого является Е.А. Долгова, вне всякого сомнения, интересно и значимо для изучения прошлого отечественной исторической науки.

Однако при чтении «Предисловия» и «Научной биографии Н.И. Кареева 1914–1931 гг.», которые предваряют документальную часть книги, выполненную в получившем в последнее время популярность жанре документальной монографии, возникли вопросы. Остались они и по ознакомлении со статьёй Долговой, повторившей в сокращённом варианте вводный раздел документальной публикации².

В аннотации к книге отмечено, что во «вступительной статье и подготовленной публикации документов факты биографии и творчества учёного выводятся за рамки объяснительных мотивов, традиционно искомых в изменении политической конъюнктуры, экономических перипетиях постреволюционной эпохи»³. Из приведённого отрывка явствует, что отличие своего подхода к исследованию научного потенциала историков (в том числе Кареева) и возможности его реализации, а также результатов работы учёных в целом Долгова видит в отрицании ведущей роли политико-экономического фактора.

Действительно, изучение профессиональной деятельности, реального облика и сложившегося образа советских историков 20–30-х гг. прошлого века как в личностном, так и в собирательном плане неизбежно подводило всех исследователей, в том числе автора данной статьи, к рассмотрению различных аспектов проблемы связи исторической науки и политики, выявлению трансформации жизни и деятельности русских историков в новой социальной и научной реальности⁴. Политико-идеологическая составляющая была

© 2017 г. Л.А. Сидорова

¹ Учёный в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914–1931 гг. Исследования и материалы / Автор-сост. Е.А. Долгова. М., 2015.

² «Смерть моя была бы громадной семейной катастрофой»: сюжеты из жизни «буржуазного» профессора в 1920-е гг. // Российская история. 2015. № 4. С. 77–89.

³ Учёный в эпоху перемен... С. 2.

⁴ См., например: Очерки истории отечественной исторической науки XX века / Под ред. В.П. Корзун. Омск, 2005; Дубровский А.М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930-е – 1950-е гг.).

непременной частью условий, в которых учёные вели научные исследования, влияя на их проблематику и дававшие в них оценки.

Создавая научную биографию Кареева, Долгова не могла не затронуть вопроса о взаимоотношении своего героя и советской власти. Автор предложила версию, объясняющую особенности отношения новых властных структур к отдельному историку дореволюционной формации его «символическим статусом» — «занимаемой учёным позицией в иерархии научного сообщества»⁵. Публикуемые в книге материалы о последнем периоде жизни и деятельности историка, по мнению составителя, полностью подтверждают эту гипотезу.

Свой тезис Долгова основывает на сформулированном в 1960-х гг. американским социологом Р.К. Мертоном «эффекте Матфея в науке»⁶. С помощью данной категории он на современном ему материале анализировал «феномен неравномерности распределения признания научных заслуг»⁷.

Строка из Евангелия от Матфея «Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф. 13: 12), использованная Мертоном для описания выявленных им закономерностей развития науки, постоянно находится в интеллектуально-духовном обращении. Невольно приходит на память разговор Наташи Ростовской и княжны Марьи в эпилоге великого романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Обе, уже счастливо замужние женщины, воспитывающие своих детей, обсуждают участь Сони, оставшейся приживалкой в доме Николая Ростова, женившегося не на ней, а на Марье:

«— Знаешь что, — сказала Наташа, — вот ты много читала Евангелие; там есть одно место прямо о Соне.

— Что? — с удивлением спросила графиня Марья.

— “Имущему дастся, а у неимущего отнимется”, помнишь? Она — неимущий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма, — я не знаю, но у неё отнимется, и всё отнялось. Мне её ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она *пустоцвет*, знаешь, как на клубнике? Иногда мне её жалко, а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы»⁸.

Далее Толстой подвёл итог их беседы: «И, несмотря на то, что графиня Марья толковала Наташе, что эти слова Евангелия надо понимать иначе, — глядя на Соню, она соглашалась с объяснением, данным Наташей. Действительно, казалось, что Соня не тяготится своим положением и совершенно примирилась с своим назначением *пустоцвета* (здесь и далее выделено мной. — Л.С.)»⁹.

Тонкий психолог и мастер повествования, создавший непревзойдённые по глубине и ёмкости мысли тексты, Толстой не случайно использовал слово «казалось». Этим он внёс ноту сомнения в то, что Соня сжилась с выпавшей

Брянск, 2005; Сидорова Л.А. Советская историческая наука середины XX века: синтез трёх поколений историков. М., 2008; Сидоров А.В. «Историк-марксист» восемьдесят лет назад: смена приоритетов в советской исторической науке // История и историки. 2007. Историографический вестник. М., 2009. С. 165—188; Тихонов В.В. Московские историки первой половины XX века: научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. М., 2012; Тихонов В.В. Историки, идеология, власть в России XX века. Очерки. М., 2014; и др.

⁵ Учёный в эпоху перемен... С. 6.

⁶ Там же.

⁷ Мертон Р.К. Эффект Матфея в науке, II: накопление преимуществ и символизм интеллектуальной собственности // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 259.

⁸ Толстой Л.Н. Собр. соч. В 22 т. Т. 7. М., 1981. С. 271.

⁹ Там же. С. 271—272.

ей долей, довольна своей участью. Её удел был определён свойствами души и внешними обстоятельствами, которые, сложись иначе, могли бы сделать его совсем иным. Если бы не усугублённое войной 1812 г. расстройство состояния семьи Ростовых, крутые повороты в судьбах окружающих её людей, то, возможно, отличавшие характер Сони черты (доброта, преданность, склонность к альтруизму и уступчивость) не стали бы препятствием к её личному счастью.

Этот отрывок из романа, как ни удивительно может показаться на первый взгляд, очень удачно накладывается на рассуждения Долговой о жизни и деятельности русских историков «дореволюционной формации» в условиях победившей пролетарской революции. Как и героини «Войны и мира» в случае с Соней, она ставит во главу угла сформировавшийся образ учёного — Кареева, который сам по себе определяет его дальнейшую личную и творческую судьбу. Подобно им Долгова не принимает во внимание моральные потери и нереализованные научные возможности историка, обусловленные новой социальной реальностью — советской.

Долгова полагает, что не готовность к компромиссу, т.е. свойство отдельной личности, «не социальные и политические факторы определяли положение учёного “старой школы” в постреволюционном обществе». Она утверждает, что, «скорее, его дореволюционный статус (авторитет и позиция, занимаемая в поле избранной им тематики, административный ресурс и потенциал в научном поле) диктовал в соответствии с принципом кумулятивного накопления преимуществ особенности отношения к нему власти и специфику преломления в отношении него советской социальной политики»¹⁰.

Апелляция Долговой к мертоновскому «эффекту Матфея» в науке применительно к представителям «старой профессуры», в том числе Карееву, ставит вопрос о допустимости и границах применения этого понятия при изучении истории отечественной исторической науки 1920–1930-х гг. Обратимся к работе самого Мертон, в которой раскрыта сущность данного явления. «Эффект Матфея» в науке, по его мнению, заключается в том, что «учёные готовы преувеличивать достижения своих коллег, уже составивших себе имя благодаря тем или иным прежним заслугам, а достижения учёных, ещё не получивших известности, они, как правило, преуменьшают или вообще не признают». Библейская притча, писал Мертон, «порождает соответствующую социологическую формулу — ведь представляется, что именно в такой форме происходит распределение морального дохода и когнитивного богатства в науке»¹¹.

В статье американского исследователя внимание сосредоточено на том, как в науке происходит накопление преимуществ и какие это имеет последствия для судеб отдельных учёных и прогресса научных знаний в целом¹². Мертон раскрывает содержание терминов, которыми оперирует в своей работе. В центре внимания оказывается понятие «накопленное преимущество», куда он включил научный потенциал, местонахождение в структуре науки, доступ к ресурсам научных организаций и отдельных учёных. Также он описывает способы, которыми «исходные сравнительные преимущества... обуславливают последовательное приращение преимуществ», ведущее к углублению «неравенства между “имущими” и “неимущими” в науке»¹³.

¹⁰ Учёный в эпоху перемен... С. 6.

¹¹ Мертон Р.К. Указ. соч. С. 258.

¹² Там же.

¹³ Там же. С. 256.

В качестве одного из факторов, способствовавших «возникновению глубокого неравенства в процессе научной карьеры», Мертон назвал «ориентацию на поощрение одарённой молодёжи, свойственной всем нашим институтам и организациям, занимающимся поиском и продвижением талантов»¹⁴. Он поставил вопрос о длительности действия «эффекта Матфея» в научной среде. По его мнению, данный процесс конечен: углубление неравенства происходит до тех пор, пока «не натолкнётся на сопротивление противодействующих сил»¹⁵. Среди них он выделил внутри- и внеаучные обстоятельства.

В качестве примера, иллюстрировавшего внутриаучное противодействие, Мертон предложил ситуацию, связанную с межгенерационными отношениями в научных учреждениях. «Представим себе на минуту, — писал Мертон, — что должно чувствовать юное дарование, когда оно сталкивается с высокой плотностью научных авторитетов на одном факультете или в исследовательском центре. Наиболее самостоятельные молодые люди могут быть не в восторге от перспективы оставаться вблизи и, благодаря действию эффекта Матфея, в тени своих наставников, особенно если им кажется, а молодёжи свойственно так считать — и нередко с достаточными на то основаниями, — что лучшие творческие годы наставников уже позади»¹⁶.

Далее Мертон описывал ту же ситуацию, но уже с позиции старшего поколения: «Некоторым из патриархов, имеющих прочный научный авторитет, может не слишком импонировать перспектива присутствия в собственном или соперничающем научном подразделении чересчур умных молодых сотрудников, которые, как они подозревают, могут вынудить их до срока уйти на пенсию или повредить их репутации в глазах коллег, хотя всем совершенно ясно, что сами они всё ещё находятся в превосходной форме»¹⁷.

Внеаучные обстоятельства Мертон связывал с социальной сферой, указывая на «популистские соображения и демократические ценности», которые, по его мнению, «заставят государство более равномерно расточать свои щедроты и тем самым противодействовать накоплению преимуществ в крупнейших научных и учебных центрах»¹⁸. Проявление «эффекта Матфея» было отмечено автором в наукометрии. Авторитет уже ставшего известным в научных кругах исследователя начинает приносить плоды, и уровень цитированности его работ с неизбежностью будет превосходить показатели аналогичных, а возможно, и более ценных работ малоизвестного учёного. Однако здесь тоже положение не является незыблемым и ограничено названными ранее факторами.

Таким образом, «эффект Матфея», предложенный американским социологом для описания неравномерности накопления преимуществ в сфере науки, никогда не рассматривался им как явление, столь же неотвратимое, бесконечное и вечное, как древнегреческая Немезида. Напротив, Мертон показал пределы его влияния и противодействующие ему силы.

Насколько же «эффект Матфея» применим к постреволюционному периоду развития советской исторической науки? Прежде всего следует понять, как изменился (и изменился ли) «символический статус» историка «старой школы», какие он давал (и давал ли вообще) преференции, какими путями шло

¹⁴ Там же. С. 260.

¹⁵ Там же. С. 256.

¹⁶ Там же. С. 268.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же. С. 269.

накопление преимуществ у молодых историков-марксистов, как «эффект Матфея» сказался (и сказался ли) на взаимоотношениях двух первых генераций советских историков — «старой» и «красной» профессуры, какие силы в научной сфере (и вне её) способствовали и препятствовали этим процессам.

Обратимся к опубликованным Долговой документам (в том числе комментированным в статьях), связанным с жизнью и научно-преподавательской деятельностью Кареева, привлекая по мере необходимости другие свидетельства бытия отечественной исторической науки и её деятелей в первые десятилетия XX в. В биографическом очерке утверждается, что после 1917 г. показатели экономического и социального положения, научной активности Кареева, понимаемой автором как возможность публикации книг, ведения преподавательской деятельности, условий продвижения по иерархической лестнице, не претерпели существенных изменений. Прежним остался и круг общения учёного¹⁹. Более того, проведённое исследование убедило Долгову в том, что «символический статус учёного» предоставил Карееву определённый иммунитет, защищая от репрессивных акций, обеспечивал «некоторую привилегированность его положения в условиях 1920-х гг.»²⁰.

В качестве доказательства в книге приведены факты, характеризующие социально-экономическое положение Кареева в годы советской власти. Долгова упоминает о сохранении у него в условиях повсеместного жилищного уплотнения дополнительной комнаты, об удовлетворении «прошений учёного о повышении довольствия и денежного обеспечения, снижении обязательного для всех “революционного” налога», о предоставлении взамен конфискованного у историка смоленского имения подмосковной дачи и проч.²¹ На основании этих данных автор делает вывод: «После 1917 г. Карееву были предоставлены возможности как для ведения научной работы, так и для последующего получения материального вознаграждения за неё»²².

Не останавливаясь на том, насколько справедливо данное заключение, обратимся к свидетельствам других историков круга Кареева (где представлена бытовая сторона их жизни и научной деятельности), а также к воспоминаниям и переписке самого учёного. В 1928 г. в «Автобиографической записке» академик С.Ф. Платонов писал: «Переворот 1917 г. и ломка старого строя, начатая в 1918 году, пощадили меня и мою семью, и среди общих лишений, испытанных русским обществом в период блокады и голода, я не потерял своей библиотеки и привычной оседлости. Я мог продолжать преподавание в Университете и написал свою монографию о Борисе Годунове, напечатанную в 1921 г.»²³. В этих строках присутствует неявное противопоставление своих относительно благополучных обстоятельств тяжёлым материальным условиям, в которых оказались многие коллеги учёного в первые годы советской власти.

Ю.В. Готье, например, отразил в дневнике процесс уплотнения, который испытала его семья. «Сегодня я в последний раз пишу в своём кабинете, в котором работал пять лет»²⁴, — констатировал он 8(21) марта 1918 г. Следующий

¹⁹ Учёный в эпоху перемен... С. 6–7.

²⁰ Там же. С. 60–61.

²¹ Там же. С. 61.

²² Там же.

²³ Академическое дело 1929–1931 гг. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1. СПб., 1993. С. 284.

²⁴ Готье Ю.В. Мои заметки. М., 1997. С. 124.

день профессора Московского университета был заполнен иными делами: «Весь день в суматохе с переносом вещей в квартире. К вечеру более или менее убрались, имея уже не пять комнат, а три, и начали новую полупролетарскую жизнь. Жильцы въехали вечером; пока кажется, что будем ладить»²⁵. Через год квартирное пространство ещё сузилось: «Два дня прошли в переезде, — отметил Готье 14(27) февраля 1919 г., — и вот мы теперь стеснены в 2-х комнатах, в которых еле помещается та часть имущества, которая нам необходима для жизни»²⁶.

Появление новых жилищных норм как результат социальной политики власти, направленной на уравнивание условий проживания и внедрение коммунального стиля жизни, а также как вынужденная мера, призванная справиться с последствиями наплыва населения в крупные города, в той или иной степени коснулось многих учёных. О «жилищном вопросе», который так точно и ёмко охарактеризовал М.А. Булгаков, они знали не понаслышке, защищая с разной степенью успеха свои права на привычный образ жизни, отражая, как булгаковский профессор Преображенский, натиск Швондера и олицетворяемых им сил.

Дневник Готье в отдельных местах почти текстуально совпадает с диалогами повести Булгакова «Собачье сердце». Возмущение Юрия Владимировича превращением своей квартиры в коммунальную, что сократило не только жизненное пространство для его семьи, но явилось прямой помехой для его научной работы, вылилось в горькую сентенцию: «Извольте при таких условиях заниматься и двигать науку, т.е. исполнять ту обязанность, которую с нас не снимают и большевики»²⁷. Как тут не вспомнить известную сцену визита незваных «гостей» под водительством Швондера к профессору Преображенскому и состоявшийся между ними разговор. На требование «уплотниться» последовала гневная реакция Преображенского:

«— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от двенадцатого сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели»²⁸.

В том, что такие диалоги не были чем-то исключительным, убеждают страницы эго-документов русских историков. С.Б. Веселовский в записи от 19 января 1920 г. подробно рассказал, как Татариновку, подмосковное имение его семьи, ставшее в годы Гражданской войны приютом и источником пропитания не только для большой семьи учёного, его матери, но и для многих родственников, в 1918 г. «ревизовал» один из членов местного Совета депутатов. Он осмотрел сад, пруд, питомник, огород, пчельник, лесные посадки, лес, постройки и проч., которым, писал Степан Борисович, всегда требовался заботливый уход. «И был очень удивлён, — отметил историк, — когда узнал, что всего 15 лет тому

²⁵ Там же.

²⁶ Там же. С. 266.

²⁷ Там же.

²⁸ Булгаков М.А. Собр. соч. В 5 т. Т. 2. М., 1989. С. 136.

назад здесь было дикое место: лес, овраг и корявые кусты». Он видел ясно, подчеркнул Веселовский, что в это хозяйство было вложено не только много денег, но и его «личных сил, любви и забот». Против ожидания, посетитель «вообще не сделал нам никакого зла», писал Степан Борисович, казался «вежливым, благодушным и добродушным»²⁹.

Однако данное заключение оказалось не вполне верным. Через несколько дней студент-репетитор сыновей Веселовского на железнодорожной станции повстречался с тем самым проверяющим. Между ними состоялся разговор, который студент передал Степану Борисовичу, а тот сохранил его в своём дневнике:

«— Ну, что ваш профессор, всё роется в огороде и возится с пчёлами?

— А хороший у вас уголок! Так и чешутся руки его ликвидировать.

— Т.е. как, для чего это нужно?

— Да, так. Не могу видеть, когда буржуи так хорошо устраиваются»³⁰.

Веселовский сознавал, что такие настроения были характерны не только, как он писал, для «правовверных большевиков», они распространились в «массе населения, даже отчасти и интеллигенции»³¹. Тем не менее намерения местных властей по экспроприации имения не были осуществлены. Как вспоминала племянница Степана Борисовича Н.К. Веселовская, «татаринская дача... была оставлена за Веселовским, как крупным учёным, по специальному списку, подписанному Лениным. Дом в 10 комнат, надворные постройки, фруктовый сад, огород, надел пашни в поле и луга для покоса, 2 коровы, 2 лошади, овцы и куры, а также большая пчелиная пасека — всё это было оставлено для семьи, которая должна была вести хозяйство своим трудом, без наёмной силы»³².

Однако сохранить имение семье учёного не удалось. По свидетельству Веселовской, во второй половине 1920-х гг. «Татариновку вообще бросили, вывезя из неё всю мебель и библиотеку»³³. Это было вполне закономерно. Угроза голода была позади, а совмещать научно-преподавательскую деятельность с работой в хозяйстве, без наёмных работников, было просто невозможно. Последним аккордом стала, по всей вероятности, коллективизация сельского хозяйства, решение о которой было принято на XV съезде ВКП(б) в 1927 г.

Имение Кареева постигла та же участь, но ранее. Уже летом 1919 г. его семья, переехавшая в своё бывшее смоленское владение Аносово, чтобы как-то «подкормиться», даже собственный усадебный дом делила «с каким-то учреждением вроде военного комиссариата»³⁴. Всё хозяйство отобрали: имение стало, как писал Николай Иванович, «совхозом», а он с семьёй жил в доме «с разрешения совдепа или его “исполкома”»³⁵.

Во время пребывания там случилась «маленькая передрыга», к которой Кареев отнёсся «больше комически, чем трагически»: четыре дня он с семьёй пробыл под домашним арестом как бывший помещик, подлежащий немедленному выдворению³⁶. Это событие через несколько лет имело продолжение. Дом

²⁹ Дневники С.Б. Веселовского 1915–1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2000. № 9. С. 115.

³⁰ Там же.

³¹ Там же.

³² С.Б. Веселовский. Семейная хроника. Три поколения русской жизни. М., 2010. С. 417.

³³ Там же. С. 484.

³⁴ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое / Сост. В.П. Золотарёв. Л., 1990. С. 277.

³⁵ Там же. С. 277.

³⁶ Там же. С. 278.

Кареевых был национализирован, что очень ранило историка. «Там я играл ребёнком, там юношей зачитывался книгами, там написал многое из того, что печатал», — писал Николай Иванович И.М. Гревсу 23 июля 1927 г.³⁷ «Теперь мне туда не поехать, а я так надеялся, что можно будет на лето уезжать туда», — продолжал Кареев³⁸. Предоставление ему после многочисленных хлопот дачи под Москвой могло решить проблему летнего отдыха, но не более. Суть была в ином, считал учёный: «Всё более и более разрываются связи с прошлым»³⁹.

Вопрос о довольствии и денежном вознаграждении «старой» профессуры в условиях победившей пролетарской революции также требует к себе более взвешенного подхода. Известно, что профессия историка и в условиях царской России не сулила чрезмерного материального обеспечения. 7 декабря 1892 г. в письме матери А.Е. Пресняков, ещё только собиравшийся начать учёную карьеру, описывал её возможности с житейской точки зрения. «Ни магистерство, ни докторство, ни доцентура не составляют того, что мы зовём “положением”, не дают обеспечения», — рисовал он перспективы своего будущего занятия, признавая, однако, что «их практичность в рекламе — в большей лёгкости попадать в различные столичные учебные заведения»⁴⁰, имея в виду гимназии, училища, Высшие женские курсы и т.п.

Историки, имевших независимые от профессии источники дохода, было мало. В сообществе московских историков выделялся, например, С.В. Бахрушин, происходивший из богатой семьи фабрикантов, владельцев доходных домов, известных своим меценатством, или Веселовский, который в глазах части коллег был «чужаком», «сидящим в архивах», «когда мог бы кататься на автомобилях, пить шампанское и путешествовать в тёплых краях»⁴¹.

Подавляющая часть профессуры жила на жалованье за преподавательский труд и гонорары за публикации. В начале ещё благополучного 1913 г., высказывая Веселовскому сомнения в его предположении о возможности издания научными работниками своих трудов за собственный счёт, Пресняков риторически восклицал: «Не живёт ли большая их часть — за редкими исключениями — заработком»⁴², при котором свободных денег оставалось совсем немного. Впрочем, имевшиеся средства позволяли историкам вести достойную жизнь, принятую в профессорской среде, хотя и не роскошествовать.

Годы революции и Гражданской войны стали для учёных серьёзным испытанием. Лишения шагнули далеко за грань материально и физически тяжёлых, но всё же восполнимых потерь. Они породили и питали глубокий социальный и духовный пессимизм. В январе 1919 г. Веселовский так описывал состояние профессуры Московского университета и его бывшего ректора М.К. Любавского: «Все ходят и держат себя, как приговорённые к медленной, но неминуемой смерти. Некоторые поддерживают ещё с трудом свой туалет, но другие уже не скрывают своей нужды и полного упадка духа. Очень тяжело приходится

³⁷ Учёный в эпоху перемен... С. 243.

³⁸ Там же.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 1889–1927. СПб., 2005. С. 66.

⁴¹ Дневники С.Б. Веселовского 1915–1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2000. № 2. С. 100.

⁴² А.Е. Пресняков — С.Б. Веселовскому. СПб., 9 января 1913 г. // Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. М., 2001. С. 216.

Любавскому. Он сам готовит себе пищу, вероятно, сам стирает бельё и т.д.; ходит нестриженный и непричёсанный»⁴³.

14 января 1920 г., когда уровень лишений продолжал расти, Веселовский писал: «Впоследствии историки будут спорить, как историки Парижской коммуны, был ли в России голод во время революции и анархии. Весь спор станет бессмысленным, если определить, что считать голодом. Если под голодом понимать такой продолжительный недостаток в пище, от которого человек бессильно падает и умирает от истощения, то такого голода пока нет»⁴⁴. Весной Степан Борисович вновь вернулся к этой теме. Он записал впечатления от поездки в Москву для получения положенного ему профессорского пайка (сам он в то время вместе с семьёй жил в подмосковном имении, проявляя большую заботу о натуральном хозяйстве, позволявшем противостоять голоду).

Веселовский отметил и физический, и моральный ущерб, понесённый его коллегами и их семьями: «Как все похудели, постарели, осунулись. У некоторых вид совершенно разбитых людей, ходят как тени... Почти все, с кем пришлось говорить, находятся в состоянии какой-то безнадёжности. Не только на поворот, но и на улучшение никто в ближайшем не надеется. Истощение и усталость так велики, что большинство даже не интересуется никакими политическими известиями и слухами»⁴⁵. Он с тревогой ожидал последствий полуголодного существования и духовной апатии коллег. «Ещё такой год и от верхов русской интеллигенции останутся никуда не годные обломки — кто не вымрет, тот будет на всю жизнь разбитым физически и духовно человеком», — предрекал он⁴⁶. Причём главной причиной такого положения дел историк называл не сам голод и хозяйственную разруху: они переносились бы легче, если бы были вызваны военным вторжением в Россию или природными, а не социальными катаклизмами.

Кстати сказать, многие историки «старой школы» не разделяли восторженного отношения большинства русской интеллигенции к революции. Это проявилось не только в отношении Октября. Обсуждая с Платоновым события Февральской революции, Веселовский 5 апреля 1917 г. отвечал своему респонденту: «Как я пережил последний месяц? В общем — как все. Разница, пожалуй, та, что не поддерживала и не поддерживает вера в возрождение, в поворот к лучшему». Сознаваясь в своём пессимизме, Степан Борисович писал, что «некоторым оправданием или смягчающим обстоятельством» ему служило то, что он «стал пессимистом давно, ещё с 1904—1905 года»⁴⁷.

В ответном письме Платонов признался: «Пессимист и я»⁴⁸. Далее он пояснил, что именно отвращало его от революции. Его не пугали «теоретические кликуши» (так историк именовал революционных лидеров). Главные опасения Платонова были связаны с проявлением народного бунта. Он видел угрозу в ставшей очень заметной «стихии» некультурной и слепо-злой

⁴³ Дневники С.Б. Веселовского 1915—1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2000. № 8. С. 87; см. также: *Сидоров А.В., Старостин Е.В.* Любавский Матвей Кузьмич // Историки России. Биографии / Отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2001. С. 372—373.

⁴⁴ Там же. С. 114.

⁴⁵ Там же. С. 131.

⁴⁶ Там же. С. 131—132.

⁴⁷ С.Б. Веселовский — С.Ф. Платонову. Москва, 5 апреля 1917 г. // Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. С. 188.

⁴⁸ С.Ф. Платонов — С.Б. Веселовскому. Петроград, 12 апреля 1917 г. // Там же. С. 189.

и эгоистичной»⁴⁹, противостоять которой было невозможно. «Ну, да что же можно делать нашему брату, кабинетному человеку, в настоящую минуту? — признавался Сергей Фёдорович в собственной, как и прочих учёных, беспомощности, и делал вывод: — Только ждать»⁵⁰.

Для Веселовского и многих других представителей «старой» профессуры первые послеоктябрьские годы были «хуже самого жестокого иноземного завоевания и рабства, хуже каторги». Их мироощущение было подчас трагическим. «Не только разбито всё, чем мы жили, но нас уничтожают медленным измором физически, травят как зверей, издеваются, унижают, — писал Степан Борисович и подчёркивал, что этот урон невосполним даже в эмиграции: — Кто может, бежит, но ведь это тяжёлое изгнание»⁵¹.

В своём дневнике он оставил зарисовки виденных им сцен из «новой» жизни «старой» профессуры. Стоя в большой очереди у лавки «бывшей Бландова»⁵² вместе с другими учёными, их жёнами и родственниками за профессорским пайком, Веселовский наблюдал, «с какой нервностью и нетерпением» все ждали очереди, «переспрашивали друг у друга, как и что дают, с какой лихорадочной поспешностью укладывали и уносили полученное, как бы боясь, что кто-нибудь отнимет, и не веря своему счастью»⁵³. «У стоявших около прилавка, — продолжал Степан Борисович свой рассказ, — загорались глаза при виде больших кругов масла, бочек простых селёдок, которых раньше не стала бы есть прислуга, мешков плохой муки и прочих давно недоступных в достаточном количестве товаров»⁵⁴. «До чего измучились и изголодались люди!», — подвёл неутешительный итог Веселовский⁵⁵.

Кареев в своих записках также описал невзгоды, выпавшие в те годы на долю его и всей его семьи. «Питание ухудшалось не только качественно, но и количественно, — вспоминал он. — Чувствовалось постоянное недоедание, сопровождавшееся физической слабостью»⁵⁶. Весной 1919 г. с ним вне дома случилось «нечто вроде обморока», а когда вся семья Кареевых летом того года приехала в своё имение Аносово, их не узнавали: до такой степени они похудели. Сам Николай Иванович «потерял до трети своего веса»⁵⁷.

К окончанию Гражданской войны материальное положение историков «старой школы» начало постепенно улучшаться. Исключительную роль сыграла созданная в 1921 г. по инициативе М. Горького ЦеКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта учёных при Совнарком РСФСР. Однако в системе поощрения учёных, складывавшейся с начала 1920-х гг., были не только положительные стороны. Исследовав данную проблему, Н.Л. Пушкарёва справедливо подчеркнула, что политика советской власти по предоставлению льгот научным работникам не имела целью «подавления индивидуальной воли путём прямого подкупа», но вместе с тем отметила: «Три первых десятилетия

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Дневники С.Б. Веселовского 1915–1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2000. № 9. С. 131–132.

⁵² В конце XIX — начале XX в. «Бландов и К^о» — крупнейшая в России сеть магазинов по продаже молочных продуктов и сыров.

⁵³ Дневники С.Б. Веселовского 1915–1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2000. № 9. С. 132.

⁵⁴ Там же.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 272.

⁵⁷ Там же.

истории советской науки явили во многом неприглядную картину того, как научные структуры служили средством реализации далёких от науки задач — распределительных, воспитательных, контрольно-репрессивных⁵⁸.

Опыт физического выживания в условиях угрозы голода, экономическая зависимость учёных от государственной политики в области науки не могли пройти бесследно, как и страх от репрессивных акций властей, применявшихся к историкам «старой школы» в первые постреволюционные годы и на исходе 1920-х гг. В июне 1919 г. петербуржец Н.П. Лихачёв в письме своему московскому коллеге А.В. Орешникову написал, что теперь понял, «что такое ночные страхи и холодный пот»⁵⁹. Причин для этого было предостаточно. Опасения Лихачёва вскоре получили под собою и личные основания — в июле того года был обыск в квартире его тёщи. Об этом упомянул Орешников в дневнике, сообщив также, что «в Москве всюду обыски»⁶⁰. На исходе лета 1919 г. они стали особенно интенсивными, случались и аресты.

Веселовский, заключённый в «Бутырки» вместе с сыном Всеволодом и другими ведущими профессорами-историками, пришедшими 31 августа 1919 г. на вечер к Д.М. Петрушевскому, был вынужден через оставшегося на свободе А.И. Яковлева искать заступничества у Д.Б. Рязанова, под началом которого сотрудничал в Главархиве⁶¹. Данный инцидент окончился относительно благополучно, если не принимать во внимание то, как он отразился на здоровье и состоянии духа тех историков, с которыми случился. Так, М.М. Богословский, находивший в числе тех арестованных профессоров, после недельного пребывания в «Бутырках» был вынужден отправиться в подмосковный санаторий для восстановления физических и моральных сил⁶². Там он вёл по обыкновению дневник, превратившийся, по его словам, в «унылые санаторные записи»⁶³. «То, что хотелось бы написать, не напишешь, а то, что записываешь — однообразно», — подвёл Михаил Михайлович неутешительный итог, который был совершенно предсказуем в обстановке ожидания возможных новых арестов⁶⁴.

Карееву также пришлось пережить вторжение в своё жилище красногвардейцев, искавших оружие. Он описал, как в один из послереволюционных дней к нему домой явились трое молодых матросов, из которых один, «сильно нетрезвый», держа револьвер против лба Николая Ивановича, «настойчиво требовал выдачи оружия», никогда «в заводе не бывшего» у историка. Чтобы выйти из непредсказуемой ситуации, Карееву «пришлось божиться», что у него «нет ничего, и подтвердить божбу крестным знаменем, подействовавшим на матроса умиротворяющим образом, но не помешавшим ему тут же попросить сколько-нибудь денег»⁶⁵.

⁵⁸ *Пушкарёва Н.Л.* Когда зарплаты были большими: материальное поощрение учёных в 1921–1953 гг. // *Российская история.* 2016. № 6. С. 82.

⁵⁹ Н.П. Лихачёв — А.В. Орешникову. 17(4) июня 1919 г. // *Река Времени* (Книга истории и культуры). Кн. 2. М., 1995. С. 168–169.

⁶⁰ *Орешников А.В.* Дневник. 1915–1933. В 2 кн. / Отв. ред. П.Г. Гайдуков. Кн. I. М., 2010. С. 216.

⁶¹ С.Б. Веселовский — А.И. Яковлеву. 1 сентября 1919 г. // *Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками.* С. 465.

⁶² *Богословский М.М.* Дневники (1913–1919): Из собрания Государственного Исторического музея. М., 2011. С. 459–461.

⁶³ Там же. С. 461.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 262.

Обыски, аресты и экспроприации могли закончиться и трагически. В примечаниях к публикации дневника Веселовского А.Л. Юрганов упоминает о том, что «сын Любавского, Валентин, 17 лет, был расстрелян “за хранение оружия” — пистолета»⁶⁶. Он был приятелем сыновей Веселовского, один из которых, Евгений, осенью 1935 г. был арестован и осуждён на 10 лет по 58-й статье⁶⁷. Таких фактов было, к сожалению, немало. Отсюда понятно, что страх политических преследований составлял неотъемлемую часть мироощущения «внутренних эмигрантов», к каковым причисляли себя многие историки «старой школы».

Своё заключение о «символическом статусе» учёного как гаранта его положения в новом обществе Долгова распространяет не только на социальную и бытовую стороны жизни историков, но и на профессиональную. Она пишет, что «нет однозначных и убедительных свидетельств о том, что, обеспечив учёного в социально-экономическом плане, власть сузила для него как представителя “буржуазной профессуры” возможности ведения педагогической и научно-исследовательской работы»⁶⁸.

Высказывания самого Кареева находятся в противоречии с данным тезисом. В его воспоминаниях говорится, что в постреволюционные годы он «всё-таки работал», но подчёркивается, что, «конечно, не так, как желал бы и как мог бы это делать при более благоприятных обстоятельствах»⁶⁹. Главной причиной, тормозившей его исследовательскую деятельность, Кареев считал нарушение контактов с европейской наукой, наличие которых для него, как социолога и специалиста по истории Франции, было крайне важно и необходимо. «Вся наша житейская обстановка сложилась так, что мы очутились отрезанными от научного движения на Западе», — констатировал он⁷⁰. Недоступными стали не только заграничные поездки. Почти совершенно прекратилось, писал Кареев, получение из-за границы научных книг и журналов. В итоге «отчасти и по отсутствию нового материала, отчасти и по другим причинам» историку «оставалось главным образом перетряхивать старый материал для новых книг и статей, имея в виду и заработок»⁷¹.

С публикацией своих работ историкам «старой школы» также было непросто. Любопытное признание сохранил дневник историка-марксиста С.А. Пионтковского. Подводя некоторые итоги 1928 г. для советской исторической науки, он критиковал М.Н. Покровского за «совершенно ошибочное и совершенно неверное» заявление, что «в области русской истории буржуазия повержена в прах»⁷². «Верно только то, — писал Пионтковский, — что буржуазные русские историки ничего не печатают, вернее, они много пишут, но им не печатают готовых работ»⁷³.

Сужение научного и издательского поля исследователя не было адресным, направленным непосредственно на Кареева или любого другого представителя «старой» профессуры. Однако оно было прямым следствием характера развития отечественной исторической науки в 1920–1930-е гг. В качестве единственного «цензурного казуса» Долгова называет историю с публикацией работы

⁶⁶ Дневники С.Б. Веселовского 1915–1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2000. № 9. С. 133.

⁶⁷ С.Б. Веселовский. Семейная хроника... С. 484.

⁶⁸ Учёный в эпоху перемен... С. 61.

⁶⁹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 274.

⁷⁰ Там же.

⁷¹ Там же.

⁷² Дневник историка С.А. Пионтковского (1927–1934) / Отв. ред. А.Л. Литвина. Казань, 2009. С. 112.

⁷³ Там же.

Кареева «Общая методология гуманитарных наук» (1924)⁷⁴. Одновременно исследователь признаёт, что записные книжки историка свидетельствуют о снижении его творческой активности после 1924 г.⁷⁵

Таким образом, при отсутствии видимых препон со стороны новой власти свёртывание научной деятельности Кареева и ослабление его «символического статуса» Долгова трактует как «естественный процесс смены научных поколений»⁷⁶. Думаю, что именно здесь и кроется основное противоречие в предложенной ею трактовке. Характер отношений двух основных генераций историков, работавших в советской исторической науке в первые послереволюционные десятилетия, — «старой» и «красной» профессуры — был, в духе времени, не эволюционным, а революционным, очень далёким, на мой взгляд, от «естественного». Возвращаясь к «эффекту Матфея» Мертонa, к которому апеллирует Долгова, подчеркну, что его плодами с начала 1920-х гг. всё активнее и активнее пользовались именно молодые историки-марксисты, которые пестовались в новых и обновлённых учебных заведениях.

Учёным «старой» школы оставалось с тревогой наблюдать за подготовкой следующей генерации исследователей, сознательно формируемой как противовес и смену поколения буржуазных историков. Описывая 2 января 1919 г. предложенную Покровским программу реформирования учебного процесса в Московском университете, Веселовский характеризовал её как «наивную и тенденциозную смесь разных предметов», похожую на «постановление митинга гимназистов и недоучившихся революционеров-интеллигентов». Его конечный вывод гласил: «Это программа расширенной школы пропагандистов революции, носящая печать невежества и глубокого неуважения к науке и непонимания её нужд»⁷⁷.

Осуществление такой программы с неизбежностью отражалось на положении преподавательского корпуса. «Старая» профессура, пережившая в своё время министерство Л.А. Кассо, ожидала гонений на неугодных преподавателей. 27 февраля 1919 г. Веселовский рассказал в дневнике об очередном заседании учёного совета юридического факультета Московского университета, на котором обсуждался предложенный Покровским (тогда заместителем народного комиссара просвещения) состав профессоров и преподавателей. В своих предположениях профессора не ошиблись. «Неутверждения и устранения тех или иных лиц по своим мотивам те же, что при Кассо, — так характеризовал Степан Борисович сложившуюся ситуацию и подвёл итог: — Тот же дырявый Тришкин кафтан, только вывернутый наизнанку»⁷⁸.

В 1920-х гг. политизация высшей школы шла рука об руку с процессом создания марксистских учебных заведений. Покровский в лекции, прочитанной перед слушателями Коммунистического университета им. Г. Зинovieва в мае 1923 г., акцентировал внимание на противоположности старых и новых университетов. Коммунистические университеты, по его словам, — «новая школа общественных наук, о которой мы до сих пор только мечтали». Характеризуя их специфику, лидер историков-марксистов сказал: «Уже сейчас вы представляете совершенно своеобразное, оригинальное, не по какому-нибудь плану выдуманное, но созданное, действительно, самой жизнью, самой стихией

⁷⁴ Учёный в эпоху перемен... С. 61.

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ Там же. С. 62.

⁷⁷ Дневники С.Б. Веселовского 1915—1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2000. № 8. С. 86.

⁷⁸ Там же. С. 90.

революции учреждение, которое уже теперь является образцом, по которому мы планируем будущие факультеты общественных наук. Вы и есть, собственно, тот факультет общественных наук, о котором мы мечтали»⁷⁹.

Покровский подчеркнул, что новые марксистские вузы были ещё не в состоянии самостоятельно готовить достаточное количество специалистов-обществоведов. Поэтому «мы вынуждены», сетовал он, «сохранить старые факультеты общественных наук, понемногу коммунизируя, я бы сказал, свердловизируя и зиновьевизируя их снизу»⁸⁰. Решение проблемы Покровский видел в преобразовании факультетов общественных наук классических университетов по образу и подобию коммунистических университетов — им. Я.М. Свердлова в Москве и им. Г.Е. Зиновьева в Ленинграде.

В реформе высшей школы он делал акцент на содержании образования и социальном составе студентов. «Из Зиновьевского и Свердловского университета выйдет та новая школа общественных наук, которая будет, действительно, марксистской, не потому, что там преподают марксисты, а потому, что там немыслима будет никакая история, кроме марксистской, и никакое студенчество, кроме пролетарского», — считал Покровский⁸¹.

Допускалось и использование конкретных знаний немарксистских историков, продолжавших преподавательскую деятельность, однако не они, по Покровскому, должны были составить ядро советской профессуры. Его предстояло сформировать из молодых историков-марксистов, начинавших научную и преподавательскую деятельность с сознательного отрицания наследия и опыта историков «старой школы». Это поколение историков воспринимало историческую науку как «самую политическую науку из всех существующих»⁸². Его ярчайшей представительницей была А.М. Панкратова. Впоследствии она утверждала, что историки-марксисты претворяли в жизнь «большую партийную задачу — подготовить себя как марксистски выдержанную профессуру для наших советских вузов, где орудовали враждебные нашему делу старые буржуазные профессора, либо саботировавшие, либо вредившие в то время нам, не желающие принимать ни нашего строя, ни нашей идеологии»⁸³.

Даже наиболее лояльные и «социально близкие» (так было принято говорить в 1920-е гг.) к старшему поколению молодые историки, к числу которых можно отнести и М.В. Нечкину, демонстрировали разочарование в дореволюционной науке. Её дневник отразил процесс нарастания неудовлетворённости «профессорской наукой». «Вся трагедия нашей науки состоит в том, что в ней масса противоположных мнений кажется одинаково возможной, — писала она, в то время слушательница Казанского университета, 6 ноября 1919 г. — В ней есть страшная возможность доказывать и утверждать противоположное. И сейчас же, во время записи, в мысли приходит вопрос о методологическом основании. Прямо тоска по методу поднимается в душе. И, главное, не по тому методу, который даётся профессорами на практических занятиях, а по какому-то другому. Тот метод, который преподносят нам, даёт возможность доказать

⁷⁹ Покровский М.Н. Борьба классов и русская историческая литература. Лекции, читанные в Коммунистическом университете имени тов. Зиновьева 3—7 мая 1923 г. Пг., 1923. С. 5.

⁸⁰ Там же.

⁸¹ Там же. С. 6.

⁸² Покровский М.Н. Историческая наука и борьба классов. Вып. 2. М.; Л., 1933. С. 360.

⁸³ Архив РАН, ф. 697, оп. 2, д. 186, л. 29.

противоположное. Я всё это ещё очень смутно сознаю, но знаю, что меня не удовлетворяет он, что мне хочется чего-то другого»⁸⁴.

Растущее убеждение Милицы Васильевны «в шаткости» исторического метода учёных «старой школы» и «необходимости работать как-то иначе»⁸⁵ перерастало в желание обрести единственно верное, истинное знание. Этот путь, как ей виделось, пролегал через изучение «сначала политической экономии, потом теории экономического материализма», «во имя утверждения методических приёмов, по которым я тоскую»⁸⁶, заключала она.

1 июля 1920 г. Нечкина подвела итог своему освоению новой методологии исторического исследования. «Для меня открылся в истории целый мир после знакомства с экономическим материализмом. Я как будто прозрела. Я поняла, что такое процесс, и увидела его там, где раньше видела или пустоту, или личность», — отметила она в дневнике⁸⁷. Утверждение в правильности избранного метода сказалось на её оценке университетской профессуры. 27 ноября 1920 г. Нечкина охарактеризовала её предельно жёстко: «Каста, мертвечина и личные счёты»⁸⁸. Экономический материализм привёл её к школе Покровского, о чтении «чудных, живых страниц пятитомной истории»⁸⁹ которого она сообщила 17 июня 1920 г., а в 1922 г. в Казани увидела свет её первая книга — «Русская история в освещении экономического материализма: Историографический очерк», в которой она с позиций этого научного подхода анализировала труды отечественных исследователей по истории России.

В условиях превалирования общественного интереса к марксистской методологии, которая стала краеугольным камнем политики власти в области исторической науки, учёные, работавшие в традициях дореволюционной историографии, неизбежно оказывались в стороне от поддерживавшегося государством направления развития исторических исследований. В этой связи требует уточнения вопрос о возможности реализации в советский период научного потенциала Кареева (как и других историков «старой» школы). Его нельзя решить без учёта влияния морально-психологического фактора на исследовательскую работу учёного. Сохранение относительного физического и материального благополучия того или иного историка нельзя рассматривать в отрыве от духовной стороны жизни русских историков «старой школы».

В воспоминаниях Кареева прямо указывается на изменение его мироощущения в постреволюционный период. «Не столько мои годы, сколько внешние обстоятельства превратили меня из участника жизни только в её созерцателя, с чем тоже пришлось примириться», — писал учёный⁹⁰. Кареев ощущал своё отчуждение от появившихся новых идей, людей, учреждений, изданий и видел, что оно не было односторонним. «Кажется, с обеих сторон одинаково не было желания знакомиться», — делал вывод историк, констатируя, что «для новых общественных единений» он оказывался «неподходящим»⁹¹.

⁸⁴ «...И мучилась, и работала невероятно»: Дневники М.В. Нечкиной / Отв. ред. Е.И. Пивовар, сост. Е.Р. Курапова. М., 2013. С. 103.

⁸⁵ Там же. С. 104.

⁸⁶ Там же.

⁸⁷ Там же. С. 113–114.

⁸⁸ Там же. С. 120.

⁸⁹ Там же. С. 111; см.: *Покровский М.Н.* Русская история с древнейших времён. Т. 1–5. М., 1910–1913.

⁹⁰ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. С. 300.

⁹¹ Там же.

Образовавшаяся изоляция, хотя и не подкреплённая формальными запретами и ограничениями со стороны власти, приносила, тем не менее, свои плоды, снижая исследовательскую инициативу историка. Об этом можно судить, например, на основании его письма другому именитому исследователю, Гревсу, датированного 23 июля 1927 г. В нём Кареев сообщал о том, что в течение нескольких дней внимательно читал «большую книгу Бухарина об экономическом материализме»⁹².

Николай Иванович имел в виду неоднократно переиздававшуюся в 1920-е гг. работу Н.И. Бухарина «Теория исторического материализма: Популярный учебник марксистской социологии»⁹³. В рукописи своего неопубликованного труда «Основы русской социологии», в главе седьмой, посвящённой марксистской социологии, Кареев проанализировал учебник Бухарина в издании 1922 г.⁹⁴ Хотя его собственных научных взглядов эта книга «не переменила», Кареев, считая Бухарина «не только учёным теоретиком, но практическим политическим деятелем», получившим высшее образование главным образом в эмиграции⁹⁵, отнёсся к книге серьёзно. Сначала историк намеревался выступить с развёрнутой рецензией на неё: «Думал даже написать её разбор», — сообщил он Гревсу⁹⁶. Но сам себя остановил, задавшись вопросом: «А *quoi bon?* (какой смысл. — *фр.*)», — так как не без оснований решил, что возможности обнародовать свои суждения у него не будет⁹⁷. Так и произошло. Анализ социологических взглядов Бухарина, выполненный Кареевым, стал достоянием науки спустя несколько десятилетий после смерти учёного.

Кстати, намерение обдумать и обобщить революционную теорию и практику, высказать своё мнение по ставшим такими актуальными вопросам посетило не только Кареева. 6 февраля 1919 г. Веселовский писал в дневнике: «За последнее время я много читаю по истории революций и социализма и обдумываю исследование по этим вопросам»⁹⁸. Работа не состоялась, и причины тому более чем очевидны. Маститые, но «буржуазные» профессора не могли нарушать монополии партийных историков и пропагандистов, безусловной в данной области.

Как бы ни был высок «символический статус» учёного, в условиях резкого размежевания поколений, отличавшего период становления и развития советской исторической науки в 1920—1930-е гг., он не давал гарантий сохранения авторитета в научном сообществе в целом и полнокровной исследовательской деятельности. Историки дореволюционной формации, оказавшиеся в одночасье «осколками старой школы», сталкивались лицом к лицу с проблемой упущенных научных возможностей.

Работы, выполненные в духе классической русской исторической науки, становились всё менее востребованными. Кареев остро переживал эту ситуацию. «Так обгоняла меня быстро текущая жизнь, так всё более сходил я с общественной сцены и даже при жизни начинал приходить в забвение», — сетовал он в воспоминаниях⁹⁹. «При создавшихся условиях стала невозможной

⁹² Учёный в эпоху перемен... С. 242.

⁹³ См., например: Бухарин Н.И. Теория исторического материализма: Популярный учебник марксистской социологии. Изд. 5. М.; Л., 1928.

⁹⁴ Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996. С. 324.

⁹⁵ Там же. С. 323.

⁹⁶ Учёный в эпоху перемен... С. 242.

⁹⁷ Там же.

⁹⁸ Дневники С.Б. Веселовского 1915—1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2000. № 8. С. 88.

⁹⁹ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 301.

даже простая перепечатка моих старых книг, наиболее ходких, как учебники истории, тем более что школьное преподавание истории было радикально реформировано», — писал Кареев¹⁰⁰. Положение осложнялось также тем, что известный историк не считал себя вправе «приспосабливаться и подделываться и хоть бы в мелочах с малейшим отречением от своего прежнего я»¹⁰¹.

Ослабление «символического статуса» имело под собой не только и не столько объективные причины, связанные с влиянием возраста учёного на его исследовательскую активность. Оно находилось в прямой зависимости от научной экспансии молодых историков-марксистов. Условия, подрывавшие авторитет «буржуазных» историков, служили укреплению новой марксистской когорты, для которой, по верному замечанию представителя «старой школы» Б.А. Романова, его поколение было «вредно своими сильными сторонами; и тем менее вредно, чем меньше в нём сильных сторон»¹⁰². Поэтому даже высочайший «символический статус» отдельного «буржуазного», а впоследствии, как оказалось, и марксистского учёного не мог гарантировать устойчивого и благоприятного положения в советской исторической науке 1920–1930-х гг.

Так, историки «старой школы», обладавшие громкими именами и авторитетом (С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, М.К. Любавский и многие другие), стали жертвами «Академического дела». Кстати, Долгова верно подметила, что готовность к компромиссу с новой властью не служила учёному охранной грамотой. Арестованный по «Академическому делу» Тарле явился как раз ярким примером такого положения дел. Свойственный ему конформизм («Сказали бы, что танцевать», — припоминали историки его фразу, демонстрировавшую способность адаптации Евгения Викторовича к концептуальным изменениям) не защитил известного учёного от репрессий¹⁰³.

Строки из заявления Тарле, сохранившегося в его следственном деле, как нельзя нагляднее раскрывают ситуацию. «Со мной, больным тяжёлой и мучительной болезнью, пожилым человеком, которого как-никак представители западной науки признают в печати “гордостью советской исторической науки”, — обращаются так, как обращались со мной сегодня», — с горечью писал Тарле 28 ноября 1930 г., находившийся к тому времени, говоря его собственными словами, уже «11-й месяц в каменном мешке»¹⁰⁴. «Неужели в самом деле я абсолютно не нужен советской власти», — недоумевал он, активно сотрудничавший со следствием и отмежевывавшийся от Платонова и других историков, проходивших по «Академическому делу»¹⁰⁵.

В этих обстоятельствах становится понятной обострённая реакция Кареева на критику, прозвучавшую в его адрес на открытом заседании методологической секции Общества историков-марксистов, состоявшемся 18 декабря 1930 г.¹⁰⁶ На нём на примере историков Запада в СССР (Тарле, Петрушевского, Кареева,

¹⁰⁰ Там же. С. 300.

¹⁰¹ Там же. С. 301.

¹⁰² Екатерина Николаевна Кушева — Борис Александрович Романов. Переписка 1940–1957 годов. СПб., 2010. С. 87.

¹⁰³ Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чём они спорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х — 1970-х годах. СПб., 2004. С. 15.

¹⁰⁴ Заявление Е.В. Тарле С.Г. Жупахину 28 ноября 1930 г. // Академическое дело 1929–1931 гг. Документы и материалы следственного дела... Вып. 2. Ч. 2. СПб., 1998. С. 575.

¹⁰⁵ Там же.

¹⁰⁶ Буржуазные историки Запада в СССР (Тарле, Петрушевский, Кареев, Бузескул и др.) // Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 44–86.

В.П. Бузескула и др.) были подтверждены новые акценты во взаимоотношениях советских исследователей двух генераций, которые стали характеризовать историческую науку страны начиная с 1928 г.¹⁰⁷ Противоречия между «старой школой» и молодыми историками-марксистами были переведены из идеологических в политические. «Некоторые из вчерашних наших идейных противников стали деятельными участниками антисоветских организаций, вроде академика Тарле или Платонова», — говорил в своём выступлении Н.М. Лукин, сделавший вывод, что «таким образом грань между идеологией и политикой здесь совершенно стёрлась»¹⁰⁸.

Вместо получения юбилейных адресов по случаю своего 80-летия Кареев был вынужден составлять оправдательные письма, могущие оградить его от вероятных последствий таких упоминаний. «Одна из причин плохого сна в предыдущую ночь заключалась в думах о том, как реагировать на доклад Лукина (академика), который тебе известен из газеты», — писал учёный своему брату В.И. Карееву 29 декабря 1930 г.

Накануне он послал академику А.П. Карпинскому, президенту Академии наук СССР, и её неперемennomу секретарю академику В.Л. Комарову письмо «с протестом против сближения с процессом Промпартии». В письме Кареев отмечал, что во всех его «писаниях он не может указать ни одного места, на котором отразились бы стремления господствовавших классов царской России», и что ряда его «работ антимарксистских в иностранной печати даже прямо и не существует»¹⁰⁹. Историк был также вынужден заниматься распространением своей позиции среди научной общественности, рассылая копии письма «некоторым знакомым академикам»¹¹⁰. Это испытание оказалось последним в жизни Кареева. Его, как и многих других представителей «старой школы», «символический статус» не защитил от политики власти в области исторической науки, олицетворённой в деятельности Покровского.

Но победа молодых историков-марксистов не стала полной и окончательной. Новый идеологический поворот, инициированный партийным руководством страны в середине 1930-х гг., потребовал авторитета и знаний уцелевших после «Академического дела» учёных. Власть продолжала называть их «буржуазными» и тем не менее должна была считаться с ними. Но возможность реализации учёными «эффекта Матфея» практически полностью находилась в руках властных структур. Поэтому его нельзя признать универсальным методом для объяснения положения историка в социальном и научном пространстве. Особенно это относится к переломным периодам истории, каковыми были первые послереволюционные десятилетия.

«Символический статус» «буржуазного» профессора в глазах большинства «красных профессоров» был поводом скорее для отторжения, чем для уважения и признания его заслуг. Вот как, например, историк-марксист Пионтковский в октябре 1927 г. отзывался о знатоке русского феодализма Бахрушине: «Огромный дядя с низеньким лбом, он как будто неплохо знает фактическую и документальную сторону русской истории, но ни черта не смыслит теоретически и лезет

¹⁰⁷ О значении 1928 г. в истории советской исторической науки см.: Сидоров А.В. Марксистская историографическая мысль 20-х годов. М., 1998. С. 156–189.

¹⁰⁸ Буржуазные историки Запада в СССР... С. 45.

¹⁰⁹ Учёный в эпоху перемен... С. 194.

¹¹⁰ Там же.

с остервенением в драку по всем вопросам»¹¹¹. Крайне пренебрежительная личностная оценка, зачисление в классовые враги, марксистские невежды и одновременно плохо скрываемая зависть к профессионализму Бахрушина — всё это отразило, как Пионтковский и многие другие представители историков-марксистов воспринимали учёных «старой школы» и каким видели их место в советской науке.

Историки марксистской генерации активно использовали административный ресурс, находя опору в партийно-государственной политике в области исторической науки. Накопление преимуществ у молодых историков-марксистов шло под лозунгом нейтрализации и вытеснения старшего поколения учёных. Провозглашавшая исключительно социологический метод изучения истории, ограниченный формационностью и классовостью, они отрицали отличавшие их предшественников многофакторный подход и первостепенное внимание к историческому факту.

Для «красных профессоров» преподававшие в РАНИОН блестящие русские историки — М.М. Богословский, М.К. Любавский, Д.М. Петрушевский, А.Е. Пресняков, А.Н. Савин и др. — были «алхимиками», которые «варят историю о том, сколько пуговиц было на штанах у Петра Великого»¹¹². Кивок Пионтковского, которому принадлежали эти слова, в сторону крупнейшего исследователя и знатока эпохи Петра I Богословского не был случайным. Ему приходилось встречаться с Михаилом Михайловичем ещё в бытность свою студентом Казанского университета. Богословский был председателем комиссии на государственных экзаменах, которые держал Пионтковский. Впечатление о себе радикально настроенный юноша, претендовавший на подготовку к магистерскому званию, оставил очень скромное, показался «весьма недалёким» и, как писал Богословский, «оставлен был ради того, что сын профессора: “по отцу и сыну честь”»¹¹³.

Пионтковский попытался взять реванш в ходе развернувшейся в 1927–1928 гг. острой борьбы с «буржуазной» профессурой в составе РАНИОН. Целью этих политико-идеологических битв, которые «из всех сил» вела «коммунистическая часть» РАНИОН с «устарелым типом» исследователя, состояла в выработке «нового типа учёного работника, прежде всего организатора, руководителя коллективной работы, участника коллективного труда»¹¹⁴. Планку в науке Богословского, оказавшуюся для Пионтковского слишком высокой, оказалось сложно преодолеть, проще было её отбросить. Такой подход в определённой степени позволяет ставить вопрос о коллективном «символическом статусе» новой генерации историков, конкурировавшем с индивидуальными «символическими статусами» исследователей «старой школы» за первенство в советской исторической науке, а также о конкретном наполнении слагаемых этого статуса на различных временных этапах.

Таким образом, постановка вопроса о «символическом статусе учёного», несомненно, расширяет горизонты для понимания процессов, происходивших в научных сообществах. Она позволяет глубже осмыслить вопросы межгенерационных отношений, проблему складывания, сохранения или утраты авторитета учёного в науке и (или) в её руководящих структурах. С позиции «эффекта Матфея» могут быть рассмотрены многие аспекты развития науки, в том числе взаимоотношения исследователей и власти, однако лишь с учётом конкретно-исторических, специфических условий времени и места.

¹¹¹ Дневник историка С.А. Пионтковского... С. 87.

¹¹² Там же. С. 133.

¹¹³ Богословский М.М. Дневники (1913–1919)... С. 83.

¹¹⁴ Дневник историка С.А. Пионтковского... С. 133.